

Вырезка из газеты

Социалистическая индустрия

а. 2001

Иду по Невскому... Вечером он горжественно-прекрасен, а сейчас — днем — и его не миновала сутолока, очереди, озабоченные лица прохожих, спящих от магазина к магазину. Правда, светлый этот бег у дверей Театра комедии невольно притормаживается, и в неуверенный час я вдруг ощущаю дыхание вечернего города: спрашивают лишний билетик, принаряженная публика неспешно входит в застекленные двери... Смотрю на афишу: дают дневной спектакль по комедии ленинградского драматурга Владимира Арро «Синее небо, а в нем облака».

— Владимир Константинович, эта пьеса обычно прочитывается театрами как фарс. А я вижу в ней и притчу, и грусть, и светлую мечту. Возможно, сближение «полюсов» отличает и ваших героев. Редко кто из них, живая обыденно и бесцветно, не мечтает в то же время увидеть синее небо, а в нем облака...

— Я старался только не отступать от правды. Разве такая двойственность не присуща и целому поколению «шестидесятников» — моему и вашему поколению? У каждого из нас в памяти дни, когда значительное вдруг принимало черты фарса.

— А я помню и дату: 16 октября 1964 года, мой первый рабочий день. Я ехала в автобусе, держа на коленях неразвернутый номер «Правды». Сидящий рядом мужчина попросил газету. Он жадно прочитал что-то на первой странице и отрешенно откинулся на сиденье. Взглянула и я: то было сообщение о Пленуме ЦК КПСС и освобождении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК... Помню, новость никак не омрачила моего радостного настроения. Еще бы: совсем недавно на выпускных экзаменах, я вместе с одноклассниками бойко оперировала контрольными цифрами, наглядно подтверждающими приход коммунизма уже в восьмидесятом году. Я была в предвкушении начала прекрасной созидательной жизни. Откуда мне было знать, что началась... эпоха застоя.

— Нас всех захватила эйфория той мечты. Мы верили и не верили. Всерьез принять было трудно, но где-то в подсознании шевелилось: а вдруг? Тому были причины. Недолгая — но бурная — пора «оттепели» вдохновила многих, ударила силы. Поток научных открытий, человек в космосе, новые города, плотины-гиганты... В литературе — фейерверк ярких поэтических имен. Проза молодых и обращенная к молодым искрилась юмором, иронией. То были удивительно талантливые книги поколения, в войну недонравшего свои детские игры...

Казалось: все можем! А рядом происходили вещи отнюдь не оптимистичные. Те, кого сейчас мы вслед за Евтушенко называем «наследниками Сталина», не собирались сдаваться. Напротив, за ширмой, созданной нелепыми посулами, они еще усиленнее задержали «ниточки». Участились разносы интеллигенции — это в общественной жизни. Более мелкие, но столь же драматичные, ми оказались примеры из жизни частной.

До прихода в литературу я был учителем, работал после окончания педагогического института в деревенской школе, потом в городской, был даже директором ШРМ. И нигде не обходилось без конфликтов. Характер плохой? Нет, просто я наивно полагал, что все должно делаться по-людски, по-справедливости. И старался превратить это в жизнь. Скажем, меня возмутила двойная бухгалтерия, с которой столкнулся в тогдашних «наробразовских» недрах. Но

«бунт» был немедленно подавлен: моя школа не успевала отражать натиски многочисленных комиссий. «Криминал» нашли, меня с треском уволили... Что произошло? Я и мои единомышленники — прекрасные и горячие — не смогли противостоять приспособленцам и карьеристам. И далеко не всегда в летах. Мы и не заметили, как и в наших ровесниках вызрел тот же вирус. О, это были другие дети «оттепели»! Когда общество делало крен вправо, они уже освободились от плена иллюзий. Но вот что интересно: чем больше потом прекрасные слова расходились с делом, тем охотнее государство

Владимир АРРО:

«НАСТАЛА ПОРА ЧЕСТНЫХ ПРИЗНАНИЙ»

Встреча с интересным человеком

поддерживало именно сладкие грезы. И именно этот окончательно сформировавшийся официальный оптимизм, сопряженный лишь с желанием стабильности, стабильности во что бы то ни стало, будет особенно калечить души.

— В драме «Сад» вы анализируете похожую ситуацию...

— Я наблюдал ее в Дивногорске, где побывал через несколько лет после окончания его строительства. Но это мог быть и любой другой молодой город, БАМ, наконец... Главное — люди, которые вдохновились мечтой приблизить прекрасное будущее. Им снились «голубые города, у которых названия нет», и они их построили, но... Вступили в противоречие с тем, что получилось на самом деле. В новых городах неизбежно воцарялся конформизм, усилили их жителей все больше направлялись на создание удобной, безбедной жизни. Но где же дух братства, жертвенности, с которых все начиналось? Первопоселенцам это забвение казалось предательством. И в том была беда их! Идеалы прошлых лет изжили себя, а они считали себя обманутыми. Они остановились, но это, как стало понятно уже теперь, соответствовало духу углублявшегося застоя и поэтому активно поддерживалось властями. А я... Я, сам того не желая, создал в пьесе модель тогдашнего общества. На такие вещи у власть предержащих всегда отличное чутье! Я стал одиозной фигурой и на долгое время был подвергнут ostracismu.

— Подобное же случилось, когда была поставлена пьеса «Смотрите, кто пришел!» Но здесь упреки посыпались как сверху, так и снизу. Да, в нашей жизни появились предпри-

имчивые парикмахеры и младшие научные сотрудники, подрабатывающие на ремонте квартир. Но сочувственно относиться к первым и винить саму интеллигенцию в ее невзгодах? Это было непонятно!

— Но как стремительна жизнь! Еще несколько лет назад из пьесы (а написана она в 1981 году) извлекался лишь один круг проблем: мол, смотрите, как парикмахер, банщик попер! Но мне и тогда казалось, что процесс сложнее. Свой предпринимательский талант по-настоящему использовать «новые хозяева» не могли. Что, по существу, противоречило одному из фундаментальных законов общества: необходимости рынка. Тогда такая мысль звучала кощунственно, как пропаганда теневой экономики. Я понимал это, но рука сама выписывала: «С коммерцией мы разобрались лет 50 назад!.. — Не до конца, не-е! И они вам еще это докажут...» И эти ребята доказали, предвосхитив нынешнее кооперативное движение.

С другой стороны, в среде интеллигенции тоже не все было благополучно. Появилась псевдоинтеллигенция, «выдвинутая» по степени родства и связей. Я относился к ней без пьетета, но это было расценено как нападки на носителей духовных начал и встречено более чем сдержанно самой интеллигенцией. Она пыталась сохраниться, удержаться перед «новыми хозяевами», собиравшаяся в узком кругу, подбадривала себя: «Возьмемся за руки, друзья...» Но действительность расставляла иные «колышки», по ним приходилось перекраивать свою жизнь. Отсюда двойственность, столь характерная для нашего поколения, непоследовательность. И это стало драмой — и в жизни, и на сцене. Будь честен, проповедовали мои герои, но... привирай понемногу. Отстаивай собственное достоинство, но будь, на всякий случай, покорен. Будь личностью, но поступай, как все...

В своих пьесах я по существу писал портрет моего поколения. Старался делать это честно, без прикрас.

— И тем не менее вас и ваших коллег — представителей так называемой «новой волны» в драматургии — критиковали за приверженность к частной жизни, мелкотемью, бытописательству...

— Я никогда не считал, что частная жизнь находится вне общественной. У нас очень преувеличена роль волевого начала, планирующего, руководящего. А ведь не в Госплане и министерствах — именно на кухне, на даче, не очень споро, но очень явно, но формируется в конце концов облик общества. Когда жизнь индивидуума не принимается в расчет, люди уходят от общественных интересов, они копо-

шатся в своих проблемах, они говорят, что от них ждут, но делают-то другое... И общество постепенно превращается в этакого «монстра»: в экономике воцаряется хаос, социальные связи разлагаются, нравственность становится нулевой отметкой...

Писателям — я искренне верю в это — нужно доверять. Возьмите Булгакова, Платонова, Замiatина. Они знали о нас, нынешних, больше, чем, может быть, сейчас мы сами знаем о себе. Писатель наделен особым даром — даром предвидения. И если в конце семидесятых вдруг, не сговариваясь, несколько драматургов написали пьесы о частной жизни, значит, они что-то поняли, почувствовали. Неприятие этого критикой свидетельствовало лишь об упрямом следовании отжившим истинам.

— Но ведь появлялись и другие пьесы, скажем, «Человек со стороны», «Премия», «Обратная связь», «Мы, нижеподписавшиеся», поднимавшие крупные

социально-экономические проблемы.

— Я уважаю Игнатия Дворецкого и Александра Гельмана, много сделавших для перелома в драматургии. Кстати, семинар драматургов Дворецкого сейчас веду я, а пьесы Гельмана «Скамейка» и «Наедине со всеми» бесспорно умножают достижения «новой волны»... Но все-таки их творчество было наивной верой в то, что средствами литературы можно изменить экономические условия страны. Часть наших литераторов очень увлекалась этой идеей, уповав на то, что совершенствовать механизмы хозяйствования можно механическим выдвижением кадров: дайте нам хорошего руководителя, и мы заставим экономику работать... И еще: все решается там, наверху. Мы — писатели — им подкажем, что плохо, они поймут и сделают, как надо!

Это тоже было иллюзией, которая усиленно и искусно поощрялась официальными кругами. К примеру, на сцене «дислоцировался» кабинет первого секретаря обкома. Да это же как послание богу! В последний момент высший партийный чин непременно приходил на помощь герою. Разве это не «хэппи-энд» времен застоя? И разве иллюзия гарантированной победы добра над злом на сцене не создавала, в свою очередь, иллюзию правильности самой тогдашней жизни?

— Значит ли это, что иллюзии — большие и маленькие — совершенно поглотили сопротивление?

— Нет, конечно. Были разные уровни протеста. Сахаров, Абрамов, Трифонов, Белов, Гранин, Шукшин — все, кто раскачивал осовевшего от бездеятельности «монстра», — были на их вер-

шине. Но и простое неучастие в вакханалии беззакония, честно исполняемый долг — это тоже протест.

Но... Если уж настала пора честных признаний — а хочется верить, что все-таки настала! — будем откровенны: потерь в этой борьбе было слишком много. За столько лет беспрецедентных поворотов во вправо, то влево, то вперед, то назад в нас выпестовалось технократическое сознание. Оно не связано с тем, кто ты — «физик» или «лирик», и в художественной среде существует так же свободно, как и в технической. Человек идет на поводу у очевидной прагматической пользы, и это становится его абсолютной идеей. Тут и вера в планируемость конечного результата, и убежденность в том, что для достижения его все средства хороши, и неумение просчитывать дальние и даже ближние последствия. Гидроэнергетика, неумная мелнорация, химизация сельского хозяйства — в этом ряду что-то вроде достигнуто, польза есть, но соразмерима ли она с ценой, которую пришлось заплатить? Технократическое мышление не задается таким вопросом. В его проектах чисто отсутствует человек. «Народ», «массы», «человечество» — это да! А где тот самый человек, что живет на берегах рек, которые хотят повернуть, или должен заселить города, которые проектируют, или растить хлеб на тех полях, которые осушают? Он выключен... Антигуманистическое отношение к результату деятельности — вселенчайшее порождение трижды ослепленного застоя. От него нам труднее всего будет освободиться.

— И какова, на ваш взгляд, роль драматургии в этом процессе?

— Я не покрывлю душой, если скажу о наметившейся сейчас драме драмы. Многим театральным деятелям — и драматургам в первую очередь — сейчас приходится несладко. Круг проблем, который волнует тебя и твоих потенциальных читателей и зрителей, беспрестанно обсуждается на митингах, в печати, на телевидении. Содержанием или, скажем, новизной проблемы, или социальным типом сейчас никого не удивишь. Мы уже премного наслышаны о людях-оборотнях: государственных деятелях-преступниках, врачах-мздоимцах, милиционерах-убийцах... Наша публицистика столько всего «отрыла» — литературе с ней соперничать трудно.

Речь может идти только о новом художественном качестве, о неосвоенных приемах. Я не знаю, что это будет: театр абсурда, старый ли психологический театр... В каком тут направлении двигаться? Но писать и делать вид, что ничего не произошло, нельзя.

А может быть, мы, драматурги, просто отойдем от ничем не обеспеченного права судить, учить и указывать. Мне кажется, пришло время, когда нам нужно оглядеться, поразмышлять. Возникнет, конечно, пауза, но она целительна и необходима и театру, и обществу. В тишине, без сомнения, скорее выкристаллизуется серьезное общение со зрителем. А только его доверия и следует нам сегодня искать.

Беседу вел
И. МЕДВЕДЕВА.

ЛЕНИНГРАД.